**В МОСКВЕ**

   Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям и всюду говорю одно и то же:

   -- Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!

   И мне сочувственно отвечают:

   -- Да, действительно, ужасно скучно.

   Это днем и вечером. А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках спрашиваю себя, отчего же это в самом деле мне так мучительно скучно, в груди моей беспокойно поворачивается какая-то тяжесть, -- и я припоминаю, как неделю тому назад в скуки, какой-то незнакомый господин, очевидно не москвич, вдруг повернулся ко мне и сказал раздраженно:

   -- Ах, возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать!

   Да. И всякий раз ночью сдается мне, что я начинаю понимать, отчего мне так скучно. Отчего же? Отчего? Мне кажется, вот отчего...

   Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Когда-то я учился чему-то, но, чёрт его знает, забыл ли я всё или знания мои никуда не годятся, но выходит так, что каждую минуту я открываю Америку. Например, когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дереве, то я с изумлением спрашиваю:

   -- Неужели?

   С самого рождения я живу в Москве, но ей-богу не знаю, откуда пошла Москва, зачем она, к чему, почему, что ей нужно. В думе, на заседаниях, я вместе с другими толкую о городском хозяйстве, но я не знаю, сколько верст в Москве, сколько в ней народу, сколько родится и умирает, сколько мы получаем и тратим, на сколько и с кем торгуем... Какой город богаче: Москва или Лондон? Если Лондон богаче, то почему? А шут его знает! И когда в думе поднимают какой-нибудь вопрос, я вздрагиваю и первый начинаю кричать:

   "Передать в комиссию! В комиссию!"

   Я с купцами бормочу о том, что пора бы Москве завести торговые сношения с Китаем и с Персией, но мы не знаем, где эти Китай и Персия и нужно ли им еще что-нибудь, кроме гнилого и подмоченного сырца. Я от утра до вечера жру в трактире Тестова и сам не знаю, для чего жру. Играю роль в какой-нибудь пьесе и не знаю содержания этой пьесы. Иду слушать "Пиковую даму" и, только когда уже подняли занавес, вспоминаю, что я, кажется, не читал пушкинской повести или забыл ее. Я пишу пьесу и ставлю ее, и только когда она проваливается с треском, я узнаю, что точно такая же пьеса была уже раньше написана Вл. Александровым, а до него Федотовым, а до Федотова -- Шпажинским. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговора. Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я придаю своему лицу несколько грустное, насмешливое выражение, беру собеседника за пуговицу и говорю: "Это, мой друг, старо" или -- "Вы противоречите себе, мой милый... На досуге мы как-нибудь порешим этот интересный вопрос и споемся, а теперь скажите мне бога ради: вы были на "Имогене"?" В этом отношении я кое-чему научился у московских критиков. Когда при мне говорят, например, о театре и современной драме, я ничего не понимаю, но когда ко мне обращаются с вопросом, я не затрудняюсь ответом: "Так-то так, господа... Положим, всё это так... Но идея же где? Где идеалы?" или же, вздохнув, восклицаю: "О, бессмертный Мольер, где ты?!" и, печально махнув рукой, выхожу в другую комнату. Есть еще какой-то Лопе де Вега, кажется датский драматург. Так вот я и им иногда ошарашиваю публику. "Скажу вам по секрету, -- шепчу я соседу, -- эту фразу Кальдерон позаимствовал у Лопе де Вега..." И мне верят... Ступай-ка, проверь!

   Оттого, что я ничего не знаю, я совсем некультурен. Правда, я одеваюсь по моде, стригусь у Теодора, и обстановка у меня шикарная, но все-таки я азиат и моветон. У меня письменный стол рублей в четыреста, с инкрустациями, бархатная мебель, картины, ковры, бюсты, тигровая шкура, но, гляди, отдушина в печке заткнута женской кофтой или нет плевальницы, и я вместе со своими гостями плюю на ковер. На лестнице у меня воняет жареным гусем, у лакея сонная рожа, в кухне грязь и смрад, а под кроватью и за шкафами пыль, паутина, старые сапоги, покрытые зеленой плесенью, и бумаги, от которых пахнет кошкой. Всегда у меня какой-нибудь скандал: или печи дымят, или удобства холодные, или форточка не затворяется, и, чтобы с улицы в кабинет не летел снег, я спешу заткнуть форточку подушкой. А то бывает, что я живу в меблированных комнатах. Лежишь себе в номере на диване и думаешь на тему о скуке, а в соседнем номере, направо, какая-то немка жарит на керосинке котлеты, а налево -- девки стучат бутылками пива по столу. Из своего нумера изучаю я "жизнь", смотрю на всё с точки зрения меблированных комнат и пишу уже только о немке, о девках, о грязных салфетках, играю одних только пьяниц и оскотинившихся идеалистов и самым важным вопросом почитаю вопрос о ночлежных домах и умственном пролетариате. И ничего-то я не чувствую и не замечаю. Я очень легко мирюсь и с низкими потолками, и с тараканами, и с сыростью, и с пьяными приятелями, которые ложатся на мою постель прямо с грязными сапогами. Ни мостовые, покрытые желто-бурым киселем, ни сорные углы, ни вонючие ворота, ни безграмотные вывески, ни оборванные нищие -- ничто не оскорбляет во мне эстетики. На узких извозчичьих санках я весь сжался, как кикимора, ветер пронизывает меня насквозь, извозчик хлещет меня кнутом через голову, паршивая лошаденка плетется еле-еле, но я не замечаю этого. Мне всё нипочем! Говорят мне, что московские архитектора, вместо домов, понастроили каких-то ящиков из-под мыла и испортили Москву. Но я не нахожу, что эти ящики плохи. Мне говорят, что наши музеи обставлены нищенски, ненаучны и бесполезны. Но я в музеях не бываю. Жалуются, что в Москве была одна только порядочная картинная галерея, да и ту закрыл Третьяков. Закрыл, ну, и пусть себе...

   Но обратимся ко второй причине моей скуки: мне кажется, что я очень умен и необыкновенно важен. Вхожу ли я куда, говорю ли, молчу ли, читаю ли на литературном вечере, жру ли у Тестова -- всё это я делаю с превеликим апломбом. Не бывает спора, в который бы я не вмешался. Правда, я говорить не умею, но зато я умею иронически улыбаться, пожать плечами, воскликнуть. Я, ничего не знающий и некультурный азиат, в сущности, всем доволен, но я делаю вид, что я ничем не доволен, и это мне так тонко удается, что временами я даже сам себе верю. Когда на сцене дают что-нибудь смешное, мне очень хочется смеяться, но я тороплюсь придать себе серьезный, сосредоточенный вид; не дай бог, засмеюсь, что скажут мои соседи? Сзади меня кто-то смеется, я сурово оглядываюсь: несчастный поручик, такой же Гамлет, как я, конфузится и, как бы извиняясь за свой нечаянный смех, говорит:

   -- Как пошло! Какой балаган!

   А в антракте я громко говорю в буфете:

   -- Чёрт знает, что за пьеса! Это возмутительно!

   -- Да, балаганщина, -- отвечает мне кто-то, -- но, знаете ли, не без идеи...

   -- Полноте! Этот мотив давно уже разработан Лопе де Вегой, и, конечно, сравнения быть не может! Но какая скука! Какая гнетущая скука!

   На "Имогене" оттого, что я удерживаю зевоту, мои челюсти хотят вывихнуться; глаза лезут на лоб от скуки, во рту сохнет... Но на лице у меня блаженная улыбка.

   -- Чем-то отрадным повеяло, -- говорю я вполголоса. -- Давно, давно уже я не испытывал такого высокого наслаждения!

   Иногда у меня бывает желание пошалить, сыграть в водевиле; и я охотно бы сыграл, и знаю, что это по нынешним унылым временам было бы очень кстати, но... что скажут в редакции "Артиста"?

   Нет, боже меня сохрани!

   На картинных выставках я обыкновенно щурюсь, значительно покачиваю головой и говорю громко:

   -- Кажется, всё есть: и воздуху много, и экспрессия, и колорит... Но главное-то где? Где идея? В чем тут идея?

   От журналов я требую честного направления и, главным образом, чтобы статьи были подписаны профессорами или людьми, побывавшими в Сибири. Кто не профессор и кто не был в Сибири, тот не может быть истинным талантом. Я требую, чтобы М. Н. Ермолова играла одних только идеальных девиц, не старше 21 года. Я требую, чтобы классические пьесы в Малом театре ставили непременно профессора... Непременно! Я требую, чтобы даже самые маленькие актеры, прежде чем браться за роль, знакомились с литературой о Шекспире, так что когда актер говорит, например: "Спокойной ночи, Бернандо!", то все должны чувствовать, что он прочел восемь томов.

   Я очень, очень часто печатаюсь. Не дальше как вчера я ходил в редакцию толстого журнала, чтобы справиться, пойдет ли мой роман (56 печатных листов).

   -- Право, не знаю, как быть, -- сказал редактор, конфузясь. -- Уж очень, знаете ли, длинно и... скучно.

   -- Да, -- говорю я, -- но зато честно!

   -- Да, вы правы, -- соглашается редактор, еще больше конфузясь. -- Конечно, я напечатаю...

   Девицы и дамы, с которыми я знаком, также необыкновенно умны и важны. Все они одинаковы; одинаково одеваются, одинаково говорят, одинаково ходят, и только та разница, что у одной губы сердечком, а у другой, когда она улыбается, рот широк, как у налима.

   -- Вы читали последнюю статью Протопопова? -- спрашивают меня губы сердечком. -- Это откровение!

   -- И вы, конечно, согласитесь, -- говорит налимий рот, -- что Иван Иваныч Иванов своею страстностью и силой убеждения напоминает Белинского. Он моя отрада.

   Каюсь, была у меня она... Отлично помню наше объяснение в любви. Она сидит на диване. Губы сердечком. Одета скверно, "без претензий", причесана глупо-преглупо; беру ее за талию -- корсет хрустит; целую в щеку -- щека соленая. Она сконфужена, ошеломлена и озадачена; помилуйте, как сочетать честное направление с такою пошлостью, как любовь? Что сказал бы Протопопов, если бы он видел? О, нет, никогда! Оставьте меня! Я предлагаю вам свою дружбу! Но я говорю, что мне мало одной дружбы... Тогда она кокетливо грозит мне пальцем и говорит:

   -- Хорошо, я буду любить вас, но с условием, что вы высоко будете держать знамя.

   И когда я держу ее в своих объятиях, она шепчет:

   -- Будем бороться вместе...

   Потом, живя с нею, я узнаю, что и у нее тоже отдушина в печке заткнута кофтой, и что и у нее под кроватью бумаги пахнут кошкой, и что и она также мошенничает в спорах, и на картинных выставках, как попугай, лепечет о воздухе и экспрессии. И ей тоже подавай идею! Она втихомолку пьет водку и, ложась спать, мажет лицо сметаной, чтобы казаться моложе. В кухне у нее тараканы, грязные мочалки, вонь, и кухарка, когда печет пирог, прежде чем посадить его в печь, вынимает из своей головы гребенку и проводит ею борозды на верхней корке; она же, делая пирожные, слюнит изюминки, чтобы они крепче сидели в тесте. И я бегу! Бегу! Мой роман летит к чёрту, а она, важная, умная, презирающая, всюду ходит и пищит про меня:

   -- Он изменил своим убеждениям!

   Третья причина скуки -- это моя неистовая, чрезмерная зависть. Когда мне говорят, что такой-то написал очень интересную статью, что пьеса такого-то имела успех, что Х выиграл 200 тысяч и что речь N произвела сильное впечатление, то глаза мои начинают коситься, я становлюсь совершенно косым и говорю:

   -- Я очень рад за него, но, знаете, ведь он в 74 году судился за кражу!

   Душа моя обращается в кусок свинца, я ненавижу того, кто имел успех, всем своим существом и продолжаю:

   -- Он истязует свою жену и имеет трех любовниц и всегда кормит рецензентов ужинами. Вообще скотина порядочная... Повесть эта недурна, но, наверное, он где-нибудь ее украл. Бездарность вопиющая... Да и, говоря откровенно, я и в этой-то повести не нахожу ничего особенного...

   Но зато, положим, если чья-нибудь пьеса провалилась, то я ужасно счастлив и спешу стать на сторону автора.

   -- Нет, господа, нет! -- кричу я. -- В пьесе есть что-то. Во всяком случае она литературна.

   Знайте, что всё злое, подлое, гнусное, что говорят о мало-мальски известных людях, распустил по Москве я. Пусть городской голова знает, что если ему удастся устроить, например, хорошие мостовые, то я возненавижу его и распущу слух, что он грабит проезжих на большой дороге!.. Если мне скажут, что у какой-нибудь газеты уже 50 тысяч подписчиков, то я везде стану говорить, что редактор поступил на содержание. Чужой успех -- для меня срам, унижение, заноза в сердце... Какой уж тут может быть разговор об общественном, гражданском или политическом чувстве? Если когда и было во мне это чувство, то давно уже сожрала его зависть.

   И так, ничего не знающий, некультурный, очень умный и необыкновенно важный, косой от зависти, с громадной печенкой, желтый, серый, плешивый, брожу я по Москве из дому в дом, задаю тон жизни и всюду вношу что-то желтое, серое, плешивое...

   -- Ах, какая скука! -- говорю я с отчаянием в голосе. -- Какая гнетущая скука!

   Заразителен я, как инфлуэнца. Жалуюсь я на скуку, важничаю и от зависти клевещу на своих ближних и друзей, а глядишь -- какой-нибудь подросток-студент уже прислушался, важно проводит рукою по волосам и, бросая от себя книгу, говорит:

   -- Слова, слова, слова... Боже, какая скука!

   Глаза его косятся, он тоже становится косым, как я, и говорит:

   -- Наши профессора читают теперь лекции в пользу голодающих. Но я боюсь, что половину денег они положат себе в карман.

   Я брожу, как тень, ничего не делаю, печенка моя растет и растет... А время между тем идет и идет, я старею, слабею; гляди, не сегодня-завтра заболею инфлуэнцей и умру, и потащат меня на Ваганьково; будут вспоминать обо мне приятели дня три, а потом забудут, и имя мое перестанет быть даже звуком... Жизнь не повторяется, и уж коли ты не жил в те дни, которые были тебе даны однажды, то пищи пропало... Да, пропало, пропало!

   А между тем ведь я мог бы учиться и знать всё; если бы я совлек с себя азията, то мог бы изучить и полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гигиену; я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с Китаем и Персией, уменьшить процент смертности, бороться с невежеством, развратом и со всякою мерзостью, которая так мешает нам жить; я бы мог быть скромным, приветливым, веселым, радушным; я бы мог искренно радоваться всякому чужому успеху, так как всякий, даже маленький успех есть уже шаг к счастью и к правде.

   Да, я мог бы! Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!

   Я ворочаюсь под своим одеялом с боку на бок, не сплю и всё думаю, отчего мне так мучительно скучно, и до самого рассвета в ушах моих звучат слова:

   -- Возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать.